



Этот блокнот принадлежит:

в соавторстве со Львом Толстым

Пишите между строчками великих литературных произведений и не забывайте любимых героев!

БОМБОРА™

Москва 2018

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме французенкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домашними. Все члены семьи и домашние чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домашние Облонских.

Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося прислать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване... Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. «Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: – *Il mio tesoro*, и не *Il mio tesoro*, а что то лучше, и какие то маленькие графинчики, и они же женщины», – вспоминал он. Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб. «Ах, ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его. «Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом то вся драма, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры. Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидел ее в спальне с

несчастною, открывшею все, запиской в руке. Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него. – Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку. И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучала Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены. С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чемнибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отречься, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычно, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственно ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа. «Всему виной эта глупая улыбка», – думал Степан Аркадьич. «Но что же делать? что делать?» – с отчаянием говорил он себе и не находил ответа. II Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог теперь раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное. «Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно!» – твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. – И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, участлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего, и хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно! Ай, ай, ай!

Аяя! Но что же, что же делать?» Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот:

– надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели

графинчики женщины; стало быть, надо забыться сном жизни. «Там видно будет, – сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой

шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко

носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги

и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья. – Из присутствия есть бумаги? – спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и

садясь к зеркалу. – На столе, – отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: – От хозя-

ина извозчика приходили. Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно

было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: – «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?» Матвей положил руки

в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина. – Я приказал прийти в то воскресенье, а до

тех пор чтобы не беспокоили вас и себя понапрасну, – сказал он, видимо, приготовленную фразу. Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и

обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло. – Матвей, сестра

Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту глянцевою, пухлую ручку цирюльника, расчищавшего розовую дорожку между длинными

кудрявыми бакенбардами. – Слава богу, – сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что

Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой. – Одни или с супругом? – спросил Матвей. Степан

Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхнею губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой. – Одни. Наверху пригото-

вить? – Дарье Александровне доложи, где прикажут. – Дарье Александровне? – как бы с сомнением повторил Матвей. – Да, доложи. И вот возьми телеграмму,

передай, что они скажут. «Попробовать хотите», – понял Матвей, но он сказал только: – Слушаю с. Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и собирался

одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было. – Дарья Алек-

сандровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, – сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы

и склонив голову набок, устался на барина. Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице. – А?

Матвей? – сказал он, покачивая головой. – Ничего, сударь, образуется, – сказал Матвей. – Образуется? – Так точно с. – Ты думаешь? Это кто там? – спросил

Степан Аркадьич, услышав за дверью шум женского платья. – Это я с, – сказал твердый и приятный женский голос, и из за двери высунулось строгое рябое

лицо Матрены Филимоновны, нянюшки. – Ну что, Матреша? – спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь. Несмотря на то, что Степан Аркадьич был

кругом виноват перед женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне. – Ну что? –

сказал он уныло. – Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навьинтараты пошло. Детей,

сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься... – Да ведь не примет... – А вы свое сделайте. Бог милостив, богу молитесь, сударь,

богу молитесь. – Ну, хорошо, ступай, – сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. – Ну, так давай одеваться, – обратился он к Матвею и решительно скинул

халат. – Матвей уже держал, сдувая что то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облек в нее холеное тело барина. III

Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, выправил рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник,

спички, часы с двойной цепочкой и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое

несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофе и, рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия. Он прочел

письма. Одно было очень неприятное – от кушца, покушавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать; но теперь, до примирения с женой, не

могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль,

что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, – эта мысль оскорбляла его. Окончив письма,

Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистывая два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела,

взялся за кофе; за кофеем он развернул еще смрую утреннюю газету и стал читать ее. Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но

того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо

держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше

сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись. Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами

приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не оттого, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все дурно, и действительно, у Степана Аркадыча долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадычу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадыч не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадычу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смиренного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрик и отречься от первого родоначальника – обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадыча, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственною ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: – от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого, иронического удовольствия. Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, страхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у

него на душе было что нибудь особенно приятное, – радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение. Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался. Два детские голоса (Степан Аркадьич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) послышались за дверьми. Они что то везли и уронили. – Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, – кричала по английски девочка, – вот подбирай! «Все смешалось, – подумал Степан Аркадьич, – вон дети одни бегают». И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу. Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространившийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад; но отец удержал ее.. – Что мама? – спросил он, водя рукой по гладкой, нежной шейке дочери. – Здравствуй, – сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику. Он сознавал, что меньше любил мальчика, и всегда старался быть ровен; но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца. – Мама? Встала, – отвечала девочка. Степан Аркадьич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», – подумал он. – Что, она весела? Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел. – Не знаю, – сказала она. – Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке. – Ну, иди, Танчурочка моя. Ах да, стой, – сказал он, все таки удерживая ее и глядя ее нежную ручку. Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые, шоколадную и помадную. – Грише? – сказала девочка, указывая на шоколадную. – Да, да. – И еще раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее. – Карета готова, – сказал Матвей. – Да просительница, – прибавил он. – Давно тут? – спросил Степан Аркадьич. – С полчаса. – Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать! – Надо же вам дать хоть кофею откушать, – сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться. – Ну, проси же скорее, – сказал Облонский, морщась от досады. Просительница, штабс капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковом; но Степан Аркадьич, по своему обыкновению, усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс капитаншу, Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, – жену. «Ах да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» – говорил

он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре. «Однако когданибудь же нужно; ведь не может же это так остаться», – сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены. IV Дарья Александровна, в кофточке и с припиленными на затылке косами уже редких, когда то густых и прекрасных волоса с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей перед открытою шифоньеркой, из которой она выбирала что то. Услыхав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня: – отобрать детские и свои вещи, которые она увезет к матери, – и опять не могла на это решиться; но и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не может так остаться, что она должна предпринять чтонибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малую частью той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня меньше заболел оттого, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обманывая себя, она все таки отбирала вещи и притворялась, что уедет. Увидав мужа, она опустила руку в ящик шифоньерки, будто отыскивая что то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание. – Долли! – сказал он тихим, робким голосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все таки сиял свежестью и здоровьем. Она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру. «Да, он счастлив и доволен! – подумала она, – а я?!. И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту его доброту», – подумала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица. – Что вам нужно? – сказала она быстрым, не своим, грудным голосом. – Долли! – повторил он с дрожанием в голосе. – Анна

приедет сегодня. – Ну что же мне? Я не могу ее принять! – вскрикнула она. – Но надо же, однако, Долли.. – Уйдите, уйдите, уйдите! – не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью. Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все образуется, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе; но когда он увидал ее измученное, страдальческое лицо, услышал этот звук голоса, покорный судьбе и отчаянный, ему захватило дыхание, что то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами. – Боже мой, что я сделал! Долли! Ради бога! Ведь... – он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле. Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него. – Долли, что я могу сказать?.. Одно: – прости, прости... Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты, минуты... Она опустила глаза и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он какнибудь разуверил ее. – Минуты... минуты увлечения... – выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица. – Уйдите, уйдите отсюда! – закричала она еще пронзительнее, – и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости! Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами. – Долли! – проговорил он, уже всклипывая. – Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости! Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал. – Ты помнишь детей, чтоб играть с ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь, – сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе. Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку, но она с отвращением отстранилась от него. – Я помню про детей и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их; но я сама не знаю, чем я спасу их: – тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом, – да, с развратным отцом... Ну, скажите, после того... что было, разве возможно нам жить вместе? Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно? – повторила она, возвышая голос. – После того как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей... – Но что же делать? Что делать? – говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову. – Вы мне гадки, отвратительны! – закричала она, горячась все более и более. – Ваши слезы – вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! – с болью и злобой произнесла она это ужасное для себя слово чужой. Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся на ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того,

что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», – подумал он. – Это ужасно! Ужасно! – проговорил он. В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось. Она, видимо, опоминалась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась к двери. «Ведь любит же она моего ребенка, – подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, – моего ребенка; как же она может ненавидеть меня?» – Долли, еще одно слово, – проговорил он, идя за нею. – Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Пускай все знают, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своею любовницей! И она вышла, хлопнув дверью. Степан Аркадьич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. «Матвей говорит: – образуется; но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, – говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: – подлец и любовница. – И, может быть, девушки слышали! Ужасно тривиально, ужасно». Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты. Была пятница, и в столовой часовщик немец заводил часы. Степан Аркадьич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец «сам был заведен на всю жизнь, чтобы заводиться часью», – и улыбнулся. Степан Аркадьич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется! Хорошо словечко: – образуется, – подумал он. – Это надо рассказать». – Матвей! – крикнул он, – так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны, – сказал он явившемуся Матвею. – Слушаю с. Степан Аркадьич надел шубу и вышел на крыльцо. – Кушать дома не будете? – сказал проважавший Матвей. – Как придется. Да вот возьми на расходы, – сказал он, подавая десять рублей из бумажника. – Довольно будет? – Довольно ли. не довольно, видно обойтись надо, – сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо. Дарья Александровна между тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить: – что надеть детям на гулянье? давать ли молоко? не послать ли за другим поваром? – Ах, оставьте, оставьте меня! – сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал! Но чем же кончил он с нею? – думала она. – Неужели он выдает ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме – мы чужие. Навсегда чужие!» – повторила она опять с осо-

бленным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то...» – начала она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из двери. – Уж прикажите за братом послать, – сказала она, – все он изготовит обед; а то, по вчерашнему, до шести часов дети не евши. – Ну, хорошо, я сейчас выйду и поряжусь. Да послали ли за свежим молоком? И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе. V Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних; но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, он занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены. Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного были все ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чегонибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого. Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» – почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, – на другой день, на третий опять точно так же все радовались при встрече с ним. Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан

Аркадьич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; во вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, в третьих, – главное – в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок. Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятия. Никто вернее Степана Аркадьича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьичем: – Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли... – Получили наконец? – проговорил Степан Аркадьич, закладывая пальцем бумагу. – Ну с, господа... – И присутствие началось. «Если б они знали, – думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, – каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» – И глаза его смеялись при чтении доклада... До двух часов занятия должны были идти не прерываясь, а в два часа – перерыв и завтрак. Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг отворились, и кто то вошел. Все члены из под портрета и из за зеркала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь; но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь. Когда дело было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер юнкер Гриневич, вышли с ним. – После завтрака успеем кончить, – сказал Степан Аркадьич. – Как еще успеем! – сказал Никитин. – А плут порядочный должен быть этот Фомин, – сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали. Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил. – Кто это входил? – спросил он у сторожа. – Какой то, ваше превосходительство, без спросу влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: – когда выйдут члены, тогда...

– Где он? – Нешто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, – сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавою бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал наверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходявших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского. Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из за шитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего. – Так и есть! Левин, наконец! – проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. – Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? – сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. – Давно ли? – Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, – отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг. – Ну, пойдем в кабинет, – сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями. Степан Аркадьич был на «ты» почти со всеми своими знакомыми: – со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского чтонибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своими постыдными «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облонский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он перед подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет. Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель – есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что то делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торпливый, немножко стесненный и раздраженный этою

стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито. – Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. – Очень, очень рад тебя видеть, – продолжал он. – Ну, что ты? Как? Когда приехал? Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми длинными пальцами, с такими длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся. – Ах да, позвольте вас познакомиться, – сказал он. – Мои товарищи: – Филипп Иванович Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, – и обратившись к Левину: – земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Ивановича Кознышева. – Очень приятно, – сказал старичок. – Имею честь знать вашего брата, Сергея Ивановича, – сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями. Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева. – Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбрался и не езжу больше на собрания, – сказал он, обращаясь к Облонскому. – Скоро же! – с улыбкой сказал Облонский. – Но как? отчего? – Длинная история. Я расскажу когданибудь, – сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. – Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, – заговорил он, как будто кто то сейчас обидел его, – с одной стороны, игрушки, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это – средство для уездной coterie наживать деньжонки... Прежде были опеки, суды, а теперь земство, не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалования, – говорил он так горячо, как будто ктонибудь из присутствовавших оспаривал его мнение. – Эге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, – сказал Степан Аркадьич. – Но, впрочем, после об этом. – Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, – сказал Левин, с ненавистью глядя на руку Гриневича. Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся. – Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? – сказал он, оглядывая его новое, очевидно

от французского портного, платье. – Так! я вижу: – новая фаза. Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, – слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, – чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него. – Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, – сказал Левин. Облонский как будто задумался: – Вот что: – поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен. – Нет, – подумав, отвечал Левин, – мне еще надо съездить. – Ну, хорошо, так обедать вместе. – Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем. – Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом. – Два слова вот какие, – сказал Левин, – впрочем, ничего особенного. Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость. – Что Щербакские делают? Все по старому? – сказал он. Степан Аркадьич, знаяши уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели. – Ты сказал, два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку... Вошел секретарь, с фамильярною почитительностью и некоторым общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря. – Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, – сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: – Так и сделайте. Пожалуйста, так, Захар Никитич. Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание. – Не понимаю, не понимаю, – сказал он. – Чего ты не понимаешь? – так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой нибудь странной выходки. – Не понимаю, что вы делаете, – сказал Левин, пожимая плечами. – Как ты можешь это серьезно делать? – Отчего? – Да оттого, что нечего делать. – Ты так думаешь, но мы завалены делом. – Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, – прибавил Левин. – То есть, ты думаешь, что у меня есть недостаток чего то? – Может быть, и да, – сказал Левин. – Но все таки я люблюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, – прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому. – Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, – а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: – перемены нет, но жаль, что ты так